

The Kilimanjaro Device



Ray Bradbury

Машина
до Килиманджаро

Рэй Брэдбери

Pocket-book

Рэй Брэдбери
**Машина до
Килиманджаро (сборник)**

«ЭКСМО»

1965

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

Брэдбери Р. Д.

Машина до Килиманджаро (сборник) / Р. Д. Брэдбери —
«Эксмо», 1965 — (Pocket-book)

ISBN 978-5-04-098758-0

Никогда не догадаетесь, чем закончился ужасный большой пожар в усадьбе. Даже и не пытайтесь написать роман «Николас Никльби». И вряд ли у вас получится родить ребенка в четвертое измерение. Но зато вы можете насладиться чтением замечательных рассказов Рэя Брэдбери.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-098758-0

© Брэдбери Р. Д., 1965

© Эксмо, 1965

Содержание

Машина до Килиманджаро	6
Ужасный большой пожар в усадьбе	13
И все-таки наш...	23
Женщины	34
Мотель куриных откровений	40
По ветру от Геттисберга	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Рэй Брэдбери

Машина до Килиманджаро

- © Нора Галь, перевод на русский язык. Наследники, 2019
- © В. Гольдич, И. Оганесова, перевод на русский язык, 2019
- © В. Чарный, перевод на русский язык, 2019
- © И. Тогоева, перевод на русский язык, 2019
- © В. Бабенко, перевод на русский язык, 2019
- © Е. Доброхотова-Майкова, перевод на русский язык, 2019
- © Р. Шидфар, перевод на русский язык, 2019
- © Н. Григорьева, В. Грушецкий, перевод на русский язык, 2019
- © А. Гришин, перевод на русский язык, 2019
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Машина до Килиманджаро

Я приехал на грузовике ранним-ранним утром. Гнал всю ночь, в мотеле все равно не уснуть, вот я и решил – лучше уж не останавливаться, и прикатил в горы близ Кетчума и Солнечной долины как раз к восходу солнца и рад был, что веду машину и ни о чем больше думать недосуг.

В городок я въехал, ни разу не поглядев на ту гору. Боялся, что, если погляжу, это будет ошибка. Главное – не смотреть на могилу. По крайней мере так мне казалось. А тут уж надо полагаться на свое чутье.

Я поставил грузовик перед старым кабачком и пошел бродить по городку, и поговорил с разными людьми, и подышал здешним воздухом, свежим и чистым. Нашел одного молодого охотника, но он был не то, что надо, я поговорил с ним всего несколько минут и понял – не то. Потом нашел очень старого старика, но этот был не лучше. А потом я нашел охотника лет пятидесяти, и он оказался в самый раз. Он мигом понял или, может, почуял, чего мне надо.

Я угостил его пивом, и мы толковали о всякой всячине, потом я спросил еще пива и понемногу подвел разговор к тому, что я тут делаю и почему хотел с ним потолковать. Мы замолчали, и я ждал, стараясь не выдать нетерпение, чтобы охотник сам завел речь о прошлом, о тех днях, три года тому назад, и о том, как бы выбрать время и съездить к Солнечной долине, и о том, видел ли он человека, который когда-то сидел здесь, в баре, и пил пиво, и говорил об охоте, и ходил отсюда на охоту, – и рассказал бы все, что знает про этого человека.

И наконец, глядя куда-то в стену так, словно то была не стена, а дорога в горы, охотник собрался с духом и негромко заговорил.

– Тот старик, – сказал он. – Да, старик на дороге. Да-да, бедняга.

Я ждал.

– Никак не могу забыть того старика на дороге, – сказал он и, понурясь, уставился на свое пиво.

Я отхлебнул еще из своей кружки – стало не по себе, я почувствовал, что и сам очень стар и устал.

Молчание затягивалось, тогда я достал карту здешних мест и разложил ее на дощатом столе. В баре было тихо. В эту утреннюю пору мы тут были совсем одни.

– Это здесь вы его видели чаще всего? – спросил я.

Охотник трижды коснулся карты.

– Я часто видел, как он проходил вот тут. И вон там. А тут срезал наискосок. Бедный старикан. Я все хотел сказать ему, чтоб не ходил по дороге. Да только не хотелось его обидеть. Такого человека не станешь учить – это, мол, дорога, еще попадешь под колеса. Если уж он попадет под колеса, так тому и быть. Соображаешь, что это уж его дело, и едешь дальше. Но под конец и старый же он был...

– Да, верно, – сказал я, сложил карту и сунул в карман.

– А вы что, тоже из этих, из газетчиков? – спросил охотник.

– Из этих, да не совсем.

– Я ж не хотел валить вас с ними в одну кучу, – сказал он.

– Не стоит извиняться, – сказал я. – Скажем так: я – один из его читателей.

– Ну, читателей-то у него хватало, самых разных. Я и то его читал. Вообще-то я круглый год книг в руки не беру. А его книги читал. Мне, пожалуй, больше всех мичиганские рассказы нравятся. Про рыбную ловлю. По-моему, про рыбную ловлю рассказы хороши. Я думаю, про это никто так не писал и, может, уже больше так не напишут. Конечно, про бой быков тоже написано неплохо. Но это от нас далековато. Хотя некоторым пастухам да скотоводам нравится: они-то весь век около этой животины. Бык – он бык и есть, уж верно, что здесь, что там, все

едино. Один пастух, мой знакомец, в испанских рассказах старика только про быков и читал, сорок раз читал. Так он мог бы хоть сейчас туда поехать и драться с этими быками, вот честное слово.

– По-моему, – сказал я, – в молодости каждый из нас, прочитав эти его испанские рассказы про быков, хоть раз да почувствовал, что может туда поехать и драться. Или уж по крайней мере пробежать рысцой впереди быков, когда их выпускают рано поутру, а в конце дорожки ждет добрая выпивка, и твоя подружка с тобой на весь долгий праздник.

Я запнулся. И тихонько засмеялся. Потому что и сам не заметил, как заговорил в лад то ли речами старика, то ли его строчками. Покачал я головой и замолчал.

– А у могилы вы уже побывали? – спросил охотник так, будто знал, что я отвечу: да, был.

– Нет, – сказал я.

Он очень удивился. Но постарался не выдать удивления.

– К могиле все ходят, – сказал он.

– К этой я не ходок.

Он пораскинул мозгами, как бы спросить повежливей.

– То есть... – сказал он. – А почему нет?

– Потому что это неправильная могила, – сказал я.

– Если вдуматься, так все могилы неправильные, – сказал он.

– Нет, – сказал я. – Есть могилы правильные и неправильные, все равно как умереть можно вовремя и не вовремя.

Он согласно кивнул: я снова заговорил о вещах, в которых он разбирался или, по крайней мере, нюхом чуял, что тут есть правда.

– Ну ясно, – сказал он. – Знавал я таких людей, отлично помирали. Тут всегда чувствуешь – вот это было хорошо. Знал я одного, сидел он за столом, дожидался ужина, а жена была в кухне, приходит она с миской супа, а он эдак чинно сидит за столом мертвый – и все тут. Для нее-то, конечно, худо, а для него плохо ли? Никаких болезней, ничего такого. Просто сидел, ждал ужина, да так и не узнал, принесли ему ужинать, нет ли. А то еще с одним приятелем вышло. Был у него старый пес. Четырнадцать лет от роду. Дряхлый уже, почти слепой. Под конец приятель решил свезти его к ветеринару и усыпить. Усадил он старого, дряхлого, слепого пса в машину рядом с собой, на переднее сиденье. Пес разок лизнул ему руку. У приятеля аж все перевернулось внутри. Поехали. А по дороге пес без звука кончился, так и помер на переднем сиденье, будто знал, что к чему, и выбрал способ получше, просто испустил дух – и все тут. Вы ведь про это говорите, верно?

Я кивнул.

– Стало быть, по-вашему, та могила на горе – неправильная могила для правильного человека, так, что ли?

– Примерно так, – сказал я.

– По-вашему, для всех нас на пути есть разные могилы, что ли?

– Очень может быть, – сказал я.

– И коли мы могли бы увидеть всю свою жизнь с начала до конца, всяк выбрал бы себе которая лучше? – спросил охотник. – В конце оглянешься и скажешь: черт подери, вот он был, подходящий год и подходящее место – не другой, на который оно пришлось, и не другое место, а вот только тогда и только там надо было помирать. Так, что ли?

– Раз уж только и остается выбирать, не то все равно выставят вон, выходит, что так, – сказал я.

– Неплохо придумано, – сказал охотник. – Только у многих ли достало бы ума? У большинства ведь не хватает соображения убираться с пирушки, когда выпивка на исходе. Все мы норовим засидеться подольше.

– Норовим засидеться, – подтвердил я. – Стыд и срам.

Мы спросили еще пива.

Охотник разом выпил полкружки и утер рот.

– Ну а что можно поделаться, коли могила неправильная? – спросил он.

– Не замечать, будто ее и нет, – сказал я. – Может, тогда она исчезнет, как дурной сон.

Охотник коротко засмеялся, словно всхлипнул:

– Рехнулся, брат! Ну ничего, я люблю слушать, которые рехнулись. Давай болтай еще.

– Больше нечего, – сказал я.

– Может, ты есть воскресение и жизнь?

– Нет.

– Может, ты велишь Лазарю встать из гроба?

– Нет.

– Тогда чего ж?

– Просто я хочу, чтоб можно было под самый конец выбрать правильное место, правильное время и правильную могилу.

– Вот выпей-ка, – сказал охотник. – Тебе полезно. И откуда ты такой взялся?

– От самого себя. И от моих друзей. Мы собрались вдсятером и выбрали одного. Купили в складчину грузовик – вон он стоит, – и я покатил через всю страну. По дороге много охотился и ловил рыбу, чтоб настроиться, как надо. В прошлом году побывал на Кубе. В позапрошлом провел лето в Испании. А еще перед тем съездил летом в Африку. Накопилось вдоволь о чем поразмыслить. Потому меня и выбрали.

– Для чего выбрали, черт подери, для чего? – напористо, чуть не с яростью спросил охотник и покачал головой. – Ничего тут не поделаешь. Все уже кончено.

– Все, да не совсем, – сказал я. – Пошли.

И шагнул к двери.

Охотник остался сидеть. Потом взгляделся мне в лицо – оно все горело от этих моих речей, – ворча поднялся, догнал меня, и мы вышли.

Я показал на обочину, и мы оба поглядели на грузовик, который я там оставил.

– Я такие видел, – сказал охотник. – В кино показывали. С таких стреляют носорогов, верно? Львов и все такое? В общем, на них разъезжают по Африке, верно?

– Правильно.

– У нас тут львы не водятся, – сказал он. – И носороги тоже, и буйволы, ничего такого нету.

– Нету? – переспросил я.

Он не ответил.

Я подошел к открытой машине, коснулся борта.

– Знаешь, что это за штука?

– Ничего я больше не знаю, – сказал охотник. – Считаю меня круглым дураком. Так что это у тебя?

Долгую минуту я поглаживал крыло. Потом сказал:

– Машина Времени.

Он вытаращил глаза, потом прищурился, отхлебнул пива (он прихватил с собой кружку, зажав ее в широкой ладони). И кивнул мне – валяй, мол, дальше.

– Машина Времени, – повторил я.

– Слышу, не глухой, – сказал он.

Он прошел вдоль борта, отступил на середину улицы и стал разглядывать машину – да, с такими и правда охотятся в Африке. На меня он не смотрел. Обошел ее всю кругом, вновь остановился на тротуаре и уставился на крышку бензобака.

– Сколько миль из нее можно выжать? – спросил он.

– Пока не знаю.

– Ничего ты не знаешь, – сказал он.

– Первый раз еду, – сказал я. – Съезжу до места, тогда узнаю.

– И чем же такую штуку заправлять?

Я промолчал.

– Какое ей нужно горючее? – опять спросил он.

Я мог бы ответить: надо читать до поздней ночи, читать по ночам год за годом, чуть не до утра, читать в горах, где лежит снег, и в полдень в Памплоне, читать, сидя у ручья или в лодке где-нибудь у берегов Флориды. А еще я мог сказать: все мы приложили руку к этой машине, все мы думали о ней, и купили ее, и касались ее, и вложили в нее нашу любовь и память о том, что сделали с нами его слова двадцать, двадцать пять или тридцать лет тому назад. В нее вложена уйма жизни, и памяти, и любви – это и есть бензин, горючее, топливо, называй как хочешь; дождь в Париже, солнце в Мадриде, снег на вершинах Альп, дымки ружейных выстрелов в Тироле, солнечные блики на Гольфстриме, взрывы бомб и водяные взрывы, когда выскакивает из реки рыба, – вот он, потребный тут бензин, горючее, топливо; так я мог бы сказать, так подумал, но говорить не стал.

Должно быть, охотник почувал, о чем я думаю, – глаза его сузились, долгие годы в лесу научили его читать чужие мысли, – и он принялся ворочать в голове мою затею.

Потом подошел и... вот уж этого трудно было ждать! Он протянул руку... и коснулся моей машины.

Он положил ладонь на капот и так и стоял, словно прислушивался, есть ли там жизнь, и рад был тому, что ощутил под ладонью. Долго он так стоял.

Потом без единого слова повернулся и, не взглянув на меня, ушел обратно в бар и сел пить в одиночестве, спиной к двери.

И мне не захотелось нарушать молчание. Похоже, вот она, самая подходящая минута поехать попытать счастья.

Я сел в машину и включил зажигание.

Сколько миль из нее можно выжать? Какое ей нужно горючее? – подумал я. И покатил.

Я катил по шоссе, не глядя ни направо, ни налево, так и ездил добрый час взад и вперед и порой на секунду-другую зажимивался, так что запросто мог съехать с дороги и перевернуться, а то и разбиться насмерть.

А потом около полудня солнце затянуло облаками, и вдруг я почувствовал – все хорошо.

Я поднял глаза, глянул на гору и чуть не заорал.

Могила исчезла.

Я как раз спустился в неглубокую ложбинку, а впереди на дороге одиноко брел старик в толстом свитере.

Я сбросил скорость, и, когда нагнал пешехода, машина моя поползла с ним вровень. На нем были очки в стальной оправе; довольно долго мы двигались бок о бок, словно не замечая друг друга, а потом я окликнул его по имени.

Он чуть поколебался, потом зашагал дальше.

Я нагнал его на своей машине и опять сказал:

– Папа.

Он остановился, выжидая.

Я затормозил и сидел, не снимая рук с баранки.

– Папа, – повторил я.

Он подошел, остановился у дверцы.

– Разве я вас знаю?

– Нет. Зато я знаю вас.

Он поглядел мне в глаза, всмотрелся в лицо, в губы:

– Да, похоже, что знаете.

– Я вас увидел на дороге. Думаю, нам с вами по пути. Хотите, подвезу?

– Нет, спасибо, – сказал он. – В этот час хорошо пройти пешком.

– Вы только послушайте, куда я еду.

Он двинулся было дальше, но приостановился и, не глядя на меня, спросил:

– Куда же?

– Путь долгий.

– Похоже, что долгий, по тому, как вы это сказали. А покороче вам нельзя?

– Нет, – отвечал я. – Путь долгий. Примерно две тысячи шестьсот дней да прибавить или убавить денек-другой и еще полдня.

Он вернулся ко мне и заглянул в машину.

– Значит, вон в какую даль вы собрались?

– Да, в такую даль.

– В какую же сторону? Вперед?

– А вы не хотите вперед?

Он поглядел на небо.

– Не знаю. Не уверен.

– Я не вперед еду, – сказал я. – Еду назад.

Глаза его стали другого цвета. Мгновенная, едва уловимая перемена, словно в облачный день человек вышел из тени дерева на солнечный свет.

– Назад...

– Где-то посередине между двух и трех тысяч дней, день пополам, плюс-минус час, прибавить или отнять минуту, поторгуюсь из-за секунды, – сказал я.

– Язык у вас ловко подвешен, – сказал он.

– Так уж приходится, – сказал я.

– Писатель из вас никудышный, – сказал он. – Кто умеет писать, тот говорить не мастер.

– Это уж моя забота, – сказал я.

– Назад? – Он пробовал это слово на вес.

– Разворачиваю машину, – сказал я. – И возвращаюсь вспять.

– Не по милям, а по дням?

– Не по милям, а по дням.

– А машина подходящая?

– Для того и построена.

– Стало быть, вы изобретатель?

– Просто читатель, но так вышло, что изобрел.

– Если ваша машина действует, так это всем машинам машина.

– К вашим услугам, – сказал я.

– А когда вы доедете до места, – начал старик, взялся за дверцу, нагнулся, сам того не замечая, и вдруг спохватился, отнял руку, выпрямился во весь рост и тогда только договорил: – Куда вы попадете?

– В десятое января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

– Памятный день, – сказал он.

– Был и есть. А может стать еще памятной.

Он не шевельнулся, но света в глазах прибавилось, будто он еще шагнул из тени на солнце.

– И где же вы будете в этот день?

– В Африке, – сказал я.

Он промолчал. Бровью не повел. Не дрогнули губы.

– Неподалеку от Найроби, – сказал я.

Он медленно кивнул. Повторил:

– В Африке, неподалеку от Найроби.

Я ждал.

– И если поедem – попадем туда, а дальше что? – спросил он.

– Я вас там оставляю.

– А потом?

– Вы там останетесь.

– А потом?

– Это все.

– Все?

– Навсегда, – сказал я.

Старик глубоко вздохнул, провел ладонью по краю дверцы.

– И эта машина где-то на полпути обратится в самолет? – спросил он.

– Не знаю, – сказал я.

– Где-то на полпути вы станете моим пилотом?

– Может быть. Никогда раньше на ней не ездил.

– Но хотите попробовать?

Я кивнул.

– А почему? – спросил он, нагнулся и посмотрел мне прямо в глаза, в упор, грозным, спокойным, яростно-пристальным взглядом. – Почему?

«Старик, – подумал я, – не могу я тебе ответить. Не спрашивай».

Он отодвинулся – почувствовал, что перехватил.

– Я этого не говорил, – сказал он.

– Вы этого не говорили, – повторил я.

– И когда вы пойдете на вынужденную посадку, – сказал он, – вы на этот раз приземлитесь немного по-другому?

– Да, по-другому.

– Немного жестче?

– Погляжу, что тут можно сделать.

– И меня швырнет за борт, а больше никто не пострадает?

– По всей вероятности.

Он поднял глаза, поглядел на горный склон, никакой могилы там не было. Я тоже посмотрел на эту гору. И наверно, он догадался, что однажды могилу там вырыли.

Он оглянулся на дорогу, на горы и на море, которого не видно было за горами, и на материк, что лежал за морем.

– Хороший день вы вспомнили.

– Самый лучший.

– И хороший час, и хороший миг.

– Право, лучше не сыскать.

– Об этом стоит подумать.

Рука его лежала на дверце машины – не опираясь, нет – испытующе: пробовала, ощупывала, трепетная, нерешительная. Но глаза смотрели прямо в сияние африканского полдня.

– Да.

– Да? – переспросил я.

– Идет, – сказал он. – Ловлю вас на слове, подвезите меня.

Я выждал мгновение – только раз успело ударить сердце, – дотянулся и распахнул дверцу.

Он молча поднялся в машину, сел рядом со мной, бесшумно, не хлопнув, закрыл дверцу.

Он сидел рядом, очень старый, очень усталый. Я ждал.

– Поехали, – сказал он.

Я включил зажигание и мягко взял с места.

– Развернитесь, – сказал он.

Я развернул машину в обратную сторону.

– Это правда такая машина, как надо? – спросил он.

– Правда. Такая самая.

Он поглядел на луг, на горы, на дом в отдалении.

Я ждал, мотор работал вхолостую.

– Я кое о чем вас попрошу, – начал он, – когда приедем на место, не забудете?

– Постараюсь.

– Там есть гора, – сказал он и умолк, и сидел молча, с его сомкнутых губ не слетело больше ни слова.

Но я докончил за него. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро, подумал я. И на западном ее склоне нашли однажды иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

На этом склоне мы тебя и положим, думал я, на склоне Килиманджаро, по соседству с леопардом, и напишем твое имя, а под ним еще: никто не знал, что он делал здесь, так высоко, но он здесь. И напишем даты рождения и смерти, и уйдем вниз, к жарким летним травам, и пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстроногие окапи.

Заслонив глаза от солнца, старик из-под ладони смотрел, как вьется в предгорьях дорога. Потом кивнул:

– Поехали.

– Да, Папа, – сказал я.

И мы двинулись не торопясь, я – за рулем, старик – рядом со мной, спустились с косо-гора, поднялись на новую вершину. И тут выкатилось солнце, и ветер дохнул жаром. Машина мчалась, точно лев в высокой траве. Мелькали, уносились назад реки и ручьи. Вот бы нам остановиться на час, думал я, побродить по колено в воде, половить рыбу, а потом изжарить ее, полежать на берегу и потолковать, а может, помолчать. Но если остановимся, вдруг не удастся продолжить путь? И я дал полный газ. Мотор взревел неистовым рыком какого-то чудо-зверя. Старик улыбнулся.

– Отличный будет день! – крикнул он.

– Отличный.

Позади дорога, думал я, как там на ней сейчас, ведь сейчас мы исчезаем? Вот исчезли, нас там больше нет. И дорога пуста. И Солнечная долина безмятежна в солнечных лучах. Как там сейчас, когда нас там больше нет?

Я еще поддал газу, машина рванулась: девяносто миль в час.

Мы оба заорали, как мальчишки.

Уж не знаю, что было дальше.

– Ей-богу, – сказал под конец старик, – знаете, мне кажется... мы летим?

Ужасный большой пожар в усадьбе

Люди около получаса прятались возле сторожки у ворот, передавая друг другу бутылку, а потом, когда в шесть часов вечера сторож отправился отдыхать, крадучись двинулись по дорожке, поглядывая на огромный дом, во всех окнах которого горел теплый свет.

– Вот эта усадьба, – сказал Риордан.

– Проклятье, что ты имеешь в виду, когда говоришь «эта усадьба»? – воскликнул Кейси, а потом тихонько добавил: – Она всю жизнь у нас перед глазами.

– Конечно, – кивнул Келли, – но когда со всех сторон начали подступать Неприятности, усадьба выглядит по-другому. Как игрушка на снегу.

Так всем четырнадцати и казалось – огромный дом-игрушка стоял под медленно кружащимися перышками весеннего вечера.

– Ты принес спички? – спросил Келли.

– Принес ли я... за кого ты меня принимаешь?

– Ну так принес или нет – вот все, что я спрашиваю.

Кейси принялся искать. Когда все карманы оказались вывернутыми наружу, он выругался.

– Нет, не принес.

– Какого черта, – успокоил Нолан. – Там наверняка есть спички. Позаимствуем несколько штук. Пошли.

Когда они оказались на дороге, Тимулти споткнулся и упал.

– Ради бога, Тимулти, – проворчал Нолан, – где твои романтические чувства? В разгар Большого Пасхального Восстания мы обязаны сделать все как следует. Через многие годы мы хотим войти в пивную и рассказать об Ужасном Большом Пожаре в Усадьбе, разве не так? А если ты будешь сидеть на заднице в снегу, то испортишь всю картину Восстания, разве не так?

Тимулти кивнул, поднялся на ноги, исправив общую картину.

– Я постараюсь помнить о хороших манерах, – обещал он.

– Тс-с! Вот мы и пришли! – воскликнул Риордан.

– Господи, перестань говорить вещи вроде «эта усадьба» и «вот мы и пришли», – заявил Кейси. – Конечно же, мы видим проклятый дом! Что делать дальше?

– Уничтожим его? – неуверенно предложил Мерфи.

– Ба, ты так глуп, что на тебя страшно смотреть, – сказал Кейси. – Конечно, мы его уничтожим, но сначала... чертежи и планы.

– Все казалось таким простым в пивной «У Хикки», – заметил Мерфи. – Мы придем и просто камня на камне не оставим от этой проклятой усадьбы. Если учесть, какая у меня толстая жена, мне просто необходимо с чем-нибудь зверски расправиться.

– Пожалуй, следует постучать в дверь, – вмешался Тимулти, сделав глоток из бутылки, – и спросить разрешения.

– Разрешения! – проворчал Мерфи. – Я бы не доверил тебе даже управление адом – пропащие души никогда бы не начали поджариваться! Надо...

Однако передняя дверь неожиданно распахнулась, заставив его замолчать.

На пороге стоял человек и вглядывался в темноту.

– Послушайте, – донесся негромкий спокойный голос, – не могли бы вы говорить потише. Хозяйка дома прилегла отдохнуть перед вечерней поездкой в Дублин, и...

Мужчины, на которых падал свет, идущий из открытой двери, заморгали, отступили на несколько шагов и сняли шапки.

– Это вы, лорд Килготтен?

– Да, – ответил человек, стоящий в дверях.

– Мы постараемся не шуметь, – обещал дружелюбно улыбающийся Тимулти.

– Просим прощения, ваша светлость, – сказал Кейси.

– Вы очень добры, – ответил его светлость, и дверь аккуратно закрылась.

Все мужчины остались стоять с раскрытыми ртами:

– «Просим прощения, ваша светлость», «мы постараемся не шуметь, ваша светлость»!... – Кейси хлопнул себя по лбу. – Что мы говорили? Почему никто из нас не ухватился за дверь, пока он здесь стоял?

– Мы были ошарашены, вот почему; он взял нас на испуг, как все сильные мира сего, будь они прокляты. Я хочу сказать, ведь мы ничего не делали, не так ли?

– Однако мы действительно шумели, – признал Тимулти.

– Шумели, черт побери! – взорвался Кейси. – Проклятый лорд ускользнул из наших когтей!

– Тсс, не так громко, – сказал Тимулти.

Кейси понизил голос:

– Давайте осторожно подберемся к двери и...

– Это совсем не обязательно, – заметил Нолан. – Он уже знает, что мы здесь.

– Подберемся к двери, – повторил Кейси, заскрипев зубами, – и взломаем ее...

Дверь снова открылась.

Лорд, словно тихая тень, выглянул и осведомился негромким, терпеливым и хрупким старческим голосом:

– Послушайте, что вы здесь делаете?

– Ну, дело обстоит так, ваша светлость... – начал Кейси и, побледнев, замолчал.

– Мы пришли, – выпалил Мерфи, – мы пришли... сжечь эту усадьбу!

Лорд постоял немного, глядя на снег и собравшихся мужчин, его рука все еще лежала на дверной ручке. Потом закрыл на мгновение глаза, подумал, после короткой борьбы справился с тиком, из-за которого затрепетали веки, и сказал:

– Гмм, в таком случае вам лучше войти.

Мужчины ответили: хорошо, отлично, годится – и двинулись к дому, но тут Кейси выкрикнул:

– Подождите! – А затем добавил, обращаясь к стоявшему на пороге старику: – Мы войдем, когда будем готовы.

– Очень хорошо, – ответил старик. – Я не стану закрывать дверь, надумаете – входите. Я буду в библиотеке.

Оставив дверь приоткрытой, старик уже собрался уходить, когда Тимулти воскликнул:

– Когда мы надумаем? Господи, когда же мы надумаем больше, чем сейчас? С дороги, Кейси!

И все они взбежали на крыльцо.

Услышав шаги, его светлость снова повернулся к пришедшим; на спокойном лице совсем не было враждебности – так смотрит старая гончая, которая видела множество загнанных лисиц и примерно столько же спасшихся, умела быстро бегать, но теперь, в старости, перешла на медленную, шаркающую походку.

– Пожалуйста, вытирайте ноги, джентльмены.

– Мы вытираем. – И каждый тщательно очистил свои башмаки от глины и снега.

– Сюда, – сказал его светлость и повел их за собой. Бледные, прозрачные глаза лорда были окружены морщинами и мешками, результат многолетнего употребления бренди, а щеки стали красными, как вишневая наливка. – Я принесу вам выпить, и мы подумаем, что можем сделать относительно... как вы выразились... сожжения усадьбы?

– Вы просто воплощение здравого смысла, – признал Тимулти, следуя за лордом Килгот-темом в библиотеку, где тот налил всем по стаканчику виски.

– Джентльмены. – Его светлость осторожно опустил свои старые кости в кресло с выгнутой спинкой. – Выпьем.

– Мы отказываемся, – заявил Кейси.

– Отказываемся? – выдохнули все. Выпивка уже была у них в руках.

– То, что мы собираемся учинить, нужно делать на трезвую голову, – сказал Кейси, вздрогнув от взглядов, которые бросали на него его приятели.

– Кого мы здесь слушаем? – поинтересовался Риордан. – Его светлость или Кейси?

Вместо ответа все мужчины выпили виски и закашлялись. Красный цвет мужества сразу проступил на их лицах, которые они обратили к Кейси, чтобы он смог оценить разницу. Кейси мигом опрокинул свой стаканчик, не желая отставать от остальных.

Между тем старик продолжал потягивать виски, и то, как спокойно и непринужденно он это делал, отбросило поджигателей в глубины Дублинского залива, где они начали тонуть. Пока Кейси не сказал:

– Ваша честь, вы слышали о Неприятностях? Я имею в виду не только войну с кайзером за морем, но наши собственные большие Неприятности и Восстание, которое добралось теперь и до нас, до нашего города, нашей пивной, а теперь и до вашей усадьбы?

– Многочисленные тревожные события свидетельствуют, что настали тяжелые времена, – сказал его светлость. – Я полагаю, чему быть, того не миновать. Я хорошо знаю вас всех. Вы на меня работали. Мне кажется, я вам неплохо платил.

– В том нет никаких сомнений, ваша светлость. – Кейси сделал шаг вперед. – Просто «старый порядок меняется», и мы слышали о больших домах в Таре и особняках в Киллашандре, которые были сожжены ради празднования свободы и...

– Чьей свободы? – кротко спросил старик. – Моей? От тягот содержания этого дома, в котором моя жена и я стучим, как кости в стакане, или... Ладно, продолжайте. Когда бы вы хотели сжечь усадьбу?

– Если это вас не слишком затруднит, – ответил Тимулти, – то сейчас.

Старик, казалось, еще глубже погрузился в свое кресло.

– О боже, – пробормотал он.

– Конечно, – быстро сказал Нолан, – если вам неудобно, мы можем прийти позднее...

– Позднее! Это еще что за разговоры? – спросил Кейси.

– Мне ужасно жаль, – сказал старик. – Пожалуйста, разрешите мне объяснить. Леди Килготтен сейчас спит, скоро за нами приедут гости, чтобы отвезти нас в Дублин на пьесу Синджа¹...

– Чертовски хороший писатель, – заметил Риордан.

– Видел одну из его пьес год назад, – сказал Нолан, – и...

– Помолчите! – повысил голос Кейси.

Все примолкли.

Его светлость по-прежнему тихо продолжал:

– В полночь мы планировали дать у нас званый обед на десять персон... Нельзя ли отложить сожжение до завтрашнего вечера, чтобы мы могли подготовиться?

– Нет, – отрезал Кейси.

– Подождем, – сказали все остальные.

– Сожжение – это одно, – заметил Тимулти, – а билеты в театр – совсем другое. Я хочу сказать, что театр там, и было бы ужасно глупо пропустить пьесу и позволить куче еды пропасть. А гости, которые к вам придут? Как их предупредишь?

– Именно об этом я и думал, – сказал его светлость.

¹ Джон Миллингтон Синдж (1871–1909) – ведущий деятель ирландского литературного ренессанса. (Примеч. пер.)

– Да, я знаю! – закричал Кейси. Закрыв глаза, он провел ладонями по щекам, челюстям и губам, а потом сжал руки в кулаки и разочарованно отвернулся. – Нельзя откладывать сожжение, такие дела не переносят, как вечеринки, черт возьми, так не делают!

– Именно так и делают, если забывают принести спички, – тихонько проговорил Риордан.

Кейси развернулся – казалось, он сейчас ударит Риордана, но потом сообразил, что его приятель сказал правду, и немного остыл.

– Не говоря уже о том, – добавил Нолан, – что миссис – замечательная леди и нуждается в последнем вечере развлечений и отдыхе.

– Вы очень добры, – сказал его светлость, снова наполняя стаканчик гостя.

– Давайте проголосуем, – предложил Нолан.

– Проклятье! – Кейси мрачно посмотрел по сторонам. – Я вижу, что голоса уже подсчитаны. Значит, завтра вечером, черт побери.

– Да благословит вас Бог, – сказал старый лорд Килготтен. – На кухне будет оставлен холодный ужин, вы можете зайти сначала туда, наверное, вам захочется перекусить, поджог – тяжелая работа. Так мы договариваемся на завтрашний вечер, часов на восемь? К тому времени леди Килготтен будет благополучно доставлена в отель в Дублине. Я не хочу, чтобы она раньше времени узнала, что ее дом перестал существовать.

– Господи, вы настоящий христианин, – пробормотал Риордан.

– Ну, не будем грустить, – сказал старик. – Я считаю, что это уже в прошлом, а я никогда не думаю о прошлом. Джентльмены...

Он встал. И, как слепой пастух-святой, вышел в коридор вместе со стадом, которое двинулось вслед за ним.

Уже почти подойдя к двери, лорд Килготтен увидел что-то краем своего усталого глаза. Он повернул назад и в задумчивости остановился перед большим портретом итальянского аристократа.

И чем больше он на него смотрел, тем сильнее становился тик, а его губы начали беззвучно шевелиться.

Наконец Нолан спросил:

– Ваша светлость, в чем дело?

– Я тут подумал... – наконец отозвался лорд, – вы ведь любите Ирландию, не так ли?

– Видит бог, да! – сказали все. – Разве нужно спрашивать?

– Как и я, – мягко продолжал старик. – А любите ли вы в ней все, землю и ее наследие?

– Тут тоже не может быть никаких сомнений, – заявили посетители.

– Я беспокоюсь о подобных вещах, – сказал его светлость. – Это портрет кисти Ван Дейка. Очень старый, очень хороший, очень важный и очень дорогой. Это, джентльмены, сокровище национального искусства.

– Ах вот оно что! – сказали все и столпились вокруг.

– О господи, – проговорил Тимулти, – замечательная работа!

– Сама плоть, – добавил Нолан.

– Обратите внимание, – подал голос Риордан, – как его маленькие глаза следят за тобой, где бы ты ни стоял.

– Поразительно, – согласились все.

И собрались уже двинуться дальше, когда его светлость произнес:

– Вы понимаете, что это сокровище, которое в действительности не может принадлежать мне одному или вам, а только всем людям, как драгоценное наследие будет потеряно навсегда завтра вечером?

Все разинули рты.

– Спаси нас, Господь, – сказал Тимулти. – Нельзя так поступать!

– Сначала мы вынесем картину из дома, – предложил Риордан.

– Подождите! – закричал Кейси.

– Благодарю вас, – сказал его светлость, – но куда вы ее денете? На открытом воздухе под воздействием ветра, дождя и снега картина быстро погибнет. Может быть, лучше ее сжечь...

– Нет, мы этого не допустим! – воскликнул Тимулти. – Я сам возьму ее домой.

– А когда великие разногласия закончатся, – заключил лорд Килготтен, – вы доставите этот бесценный дар Искусства и Красоты, пришедший к нам из прошлого, в руки нового правительства?

– Э-э... все будет так, как вы говорите, – заверил его светлость Тимулти.

Но Кейси, не сводивший взгляда с большого холста, заявил:

– А сколько эта огромная штука весит?

– Полагаю, – слабым голосом ответил старик, – от семидесяти до ста фунтов.

– Ну и как, черт возьми, мы доставим ее в дом Тимулти? – поинтересовался Кейси.

– Мы с Брэннэхемом отнесем это проклятое сокровище, – ответил Тимулти, – а если потребуется, ты нам поможешь, Нолан.

– Потомки вас отблагодарят, – пообещал его светлость.

Двинулись дальше по коридору, и снова лорд Килготтен остановился перед двумя картинами.

– Эти полотна, на которых изображены обнаженные женщины...

– Да уж, так оно и есть! – сказали все.

– Принадлежат кисти Ренуара, – закончил старик.

– Значит, их нарисовал французский джентльмен? – спросил Руней. – Если мне будет позволено так выразиться?

– Да уж, так мог нарисовать только француз! – воскликнули все.

– Они стоят несколько тысяч фунтов, – сообщил старик.

– Я не стану с вами спорить, – заявил Нолан, поднимая палец, по которому сердито стукнул Кейси.

– Я... – начал Блинки Уаттс, чьи рыбы глаза под толстыми стеклами очков были всегда наполнены слезами. – Я готов забрать домой этих французских леди. Думаю, я смогу взять под мышки оба эти произведения искусства и отнести к себе.

– Договорились, – с благодарностью кивнул лорд.

Они подошли к большому пейзажу, на котором были изображены многочисленные люди-чудовища, скачущие и топчущие фрукты и обнимающие роскошных, как дыни, женщин. Все подошли поближе, чтобы прочесть надпись на медной табличке: «Сумерки богов».

– Сумерки, проклятье, – проворчал Руней, – это больше похоже на полдень!

– Я полагаю, – пояснил благородный старик, – здесь скрывается некая ирония – в названии и в самом предмете. Обратите внимание на сверкающее небо и на страшные фигуры, скрывающиеся за облаками. Увлечшись своей вакханалией, боги не замечают, что им грозит гибель.

– Я не вижу, – заявил Блинки Уаттс, – ни церкви, ни священников среди облаков.

– В те времена все было иначе, – заверил его Нолан.

– Я и Тиюхи, – сказал Флэннери, – отнесем этих демонических богов ко мне. Так, Тиюхи?

– Так!

И они пошли дальше по коридору, останавливаясь у каждой следующей картины, словно на экскурсии в музее, и по очереди предлагали свои услуги, чтобы отнести к себе домой сквозь снежную ночь рисунки Дега и Рембрандта или большие картины голландских мастеров, пока не оказались перед скверным портретом, написанным маслом и висевшим в алькове.

– Это мой портрет, – пробормотал старик, – сделанный ее светлостью. Оставьте его здесь, пожалуйста.

– Иными словами, вы хотите, чтобы он сгорел в Большом Пожаре? – удивился Нолан.

– Ну а вот следующая картина... – сказал старик, сделав несколько шагов вперед. Наконец долгое путешествие завершилось.

– Конечно, – вздохнул лорд Килготтен, – если вы действительно хотите все спасти, то в доме еще есть дюжина уникальных ваз эпохи Мин...

– Их стоит коллекционировать, – заметил Нолан.

– Персидский ковер на полу...

– Мы свернем его и доставим в дублинский музей.

– И изысканная люстра в главной обеденной зале.

– Ее следует спрятать, пока не закончатся Неприятности, – сказал Кейси, который уже изрядно устал.

– Ну что ж, – сказал на прощание старик, пожимая каждому руку. – Может быть, вы начнете прямо сейчас? Хочу заметить, что вам предстоит тяжелая работа – спасти эти сокровища для нации. А мне нужно несколько минут вздремнуть перед тем, как придет время переодеться.

И старик удалился на второй этаж.

А четырнадцать поджигателей озадаченно наблюдали за тем, как он уходит.

– Кейси, – сказал Блинки Уаттс, – в твою маленькую головку не приходила мысль, что только из-за того, что ты забыл спички, нам придется работать всю ночь?

– Господи, где твое чувство эсс-тетики? – воскликнул Риордан.

– Заткнись, – угрюмо бросил Кейси. – Ладно, Флэннери, ты возьмешься за этот конец «Сумерек богов», а ты, Тиоухи, – за дальний, где девушка получает то, что ей нужно. Ха! Поднимайте!

И боги, безумно озираясь, оказались в воздухе.

К семи часам большая часть картин была вынесена из усадьбы и поставлена на снег; вскоре им предстояло отправиться в разные дома. В семь пятнадцать лорд и леди Килготтен спустились вниз и направились к машине, а Кейси быстро выстроил свою команду так, чтобы леди не увидела, что здесь происходит. Парни приветственно покричали вслед уезжающему автомобилю. Леди Килготтен слабо помахала в ответ рукой.

С семи тридцати до десяти почти все картины по одной или по две были унесены.

Когда осталась последняя, Келли остановился возле темного алькова и с беспокойством взглянул на портрет старого лорда, написанный леди Килготтен. Он содрогнулся, решил проявить гуманность и забрал картину с собой в ночь.

В полночь лорд и леди Килготтен, вернувшись домой с гостями, обнаружили лишь широкие следы, оставленные в снегу, где Флэннери и Тиоухи волокли бесценные «Сумерки богов»; где ворчащий себе под нос Кейси организовал парад Ван Дейка, Рембрандта, Буше и Пиранези; последним деловито протрусил Блинки Уаттс с двумя набросками Ренуара.

Обед закончился к двум часам. Леди Килготтен отправилась в постель, удовлетворившись объяснением, что все картины одновременно были отправлены на чистку.

В три часа утра лорд Килготтен все еще сидел без сна в библиотеке, среди голых стен, перед потухшим камином, с кашне на худой шее и стаканчиком бренди в слегка дрожащей руке.

Примерно в три пятнадцать тихонько заскрипел паркет, задвигались тени, и через некоторое время с шапкой в руках в дверях библиотеки показался Кейси.

– Тсс! – тихонько прошипел он.

Лорд, который немного задремал, резко выпрямился, стараясь прийти в себя.

– Боже мой, – пробормотал он, – неужели нам пора уходить?

– Мы договорились на завтрашний вечер, – ответил Кейси. – К тому же это не вы должны уходить, а они возвращаются.

– Они? Ваши друзья?

– Нет, ваши.

И Кейси поманил его светлостью рукой.

Старик молча пошел за ним по коридору, чтобы выглянуть из-за входной двери в глубокий колодезь ночи.

Там, как замерзшая и потрепанная наполеоновская армия, нерешительная и деморализованная, стояла в темноте знакомая толпа, в руках у каждого были картины – некоторые несли их на спине или прислонили к ногам; усталые, дрожащие руки с трудом удерживали произведения искусства под медленно падающим снегом.

Ужасающая тишина опустилась на растерянных мужчин. Они оказались в затруднительном положении, словно один враг ушел, чтобы вести иные, замечательные войны, а другой, безымянный, бесшумно и незаметно подкрался сзади. Они продолжали озиаться на горы и город, будто в любой момент сам Хаос мог спустить на них своих псов. Одиноко стояли, окруженные всепроникающей ночью, и слышали далекий лай разочарования и отчаяния.

– Это ты, Риордан? – нервно спросил Кейси.

– А кто, черт возьми, это может быть? – раздался голос из темноты.

– Что они хотят? – спросил старик.

– Тут дело не в том, что они хотят, скорее вопрос заключается в том, что теперь вы можете захотеть от нас, – послышался тот же голос.

– Понимаете ли, – заговорил другой, подходя поближе, так что в упавшем на него свете стало видно, что это Хэннеман, – рассмотрев все аспекты данного дела, ваша честь, и решив, что вы такой замечательный джентльмен, мы...

– Мы не станем сжигать ваш дом! – выкрикнул Блинки Уаттс.

– Заткнись и дай человеку сказать! – раздалось сразу несколько голосов.

Хэннеман кивнул:

– Так оно и есть. Мы не станем сжигать ваш дом.

– Но послушайте, – запротестовал лорд, – я уже приготовился. И могу легко все вынести.

– Вы слишком просто ко всему относитесь, прошу прощения, ваша честь, – вмешался Келли. – Легко для вас, но совсем нелегко для нас.

– Понимаю, – сказал старик, хотя он ничего не понимал.

– Создается впечатление, – заговорил Тиоухи, – что за последние несколько часов у всех нас возникли проблемы. Некоторые связаны с домом, некоторые – с транспортировкой и размещением, если вы понимаете, куда я клоню. Кто объяснит первым? Келли? Кейси? Риордан?

Мужчины молчали.

Наконец, тяжело вздохнув, вперед выступил Флэннери.

– Дело в том... – начал он.

– Да? – мягко сказал старик.

– Ну, – продолжал Флэннери, – я и Тиоухи прошли половину пути через лес, как два проклятых дурака, и преодолели две трети болота с этой огромной картиной «Сумерки богов»... когда мы начали проваливаться.

– Вас оставили силы? – с сочувствием спросил лорд Килготтен.

– Нет, мы просто проваливались, ваша честь, проваливались в землю, – добавил Тиоухи.

– Боже мой, – пробормотал лорд.

– Тут вы совершенно правы, ваша светлость, – продолжал Тиоухи. – Понимаете, я и Флэннери и демонические боги вместе весим почти шестьсот фунтов, а это болото такое топкое, и чем дальше мы шли, тем глубже проваливались, и крик застрял у меня в горле, когда я вспомнил эти сцены из «Собаки Баскервиль» и представил себе какое-нибудь еще страшилище, которое преследует героиню среди болот, я представил, как она падает в глубокую яму, жалея,

что не придерживалась диеты, но уже слишком поздно, и на поверхности разбегаются пузыри. Вот какие картины промелькнули перед моими глазами, ваша честь.

– И что было дальше? – поинтересовался лорд Килготтен, догадавшись, что от него ждут этого вопроса.

– А дальше, – ответил Флэннери, – мы пошли прочь, оставив проклятых богов среди их сумерек.

– В болоте? – слегка огорчившись, спросил старик.

– Ну, мы их прикрыли. Я хочу сказать, мы положили сверху наши шарфы. Богам не пришлось умирать дважды, ваша честь. Эй, ребята, вы слышали это? Боги...

– Да заткнись ты! – воскликнул Келли. – Вы настоящие болваны. Почему вы не принесли проклятую картину обратно?

– Мы подумали, что приведем еще двух ребят и они нам помогут...

– Еще двух! – вскричал Нолан. – Получается четыре человека и целая свора богов – да вы провалитесь вдвое быстрее, так что над вами поднимутся пузыри, олухи вы несчастные!

– Да? – изумленно проговорил Тиюхи. – Мне такое в голову не приходило.

– Ну, раз уж зашла речь... – промолвил старик. – Может быть, следует организовать спасательную команду...

– Мы уже это сделали, ваша честь, – сообщил Кейси. – Боб, ты и Тим, быстро отправляйтесь туда и спасите языческие божества.

– А вы не расскажете отцу Лири?

– В задницу отца Лири!.. Идите!

Тим вместе с Бобом быстро зашагали в сторону леса.

Его светлость повернулся к Нолану и Келли:

– Я вижу, вы тоже принесли свою большую картину обратно.

– Ну, мы сумели отойти от двери на сто ярдов, сэр, – сказал Келли. – Я полагаю, вам интересно, почему мы ее возвращаем, ваша честь?

– Учитывая, что совпадение следует за совпадением, – сказал старик, возвращаясь в дом и надевая пальто и твидовое кепи, чтобы можно было стоять на холоде и закончить разговор, который обещал быть долгим, – признаться, мне действительно интересно.

– Все дело в моей спине, – продолжал Келли. – Она отказала в менее чем пятистах ярдах от главной дороги. Позвонок выскакивает и не встает на место уже в течение пяти лет, а я испытываю мучения Христа. Я чихнул и упал на колени, ваша честь.

– Мне это знакомо, – кивнул старик. – Такое впечатление, что кто-то втыкает тебе в спину острый шип. – Старик осторожно коснулся спины, и все сочувственно закивали головами.

– Мучения Христа, как я уже говорил, – вздохнул Келли.

– Тогда я прекрасно понимаю, почему вы не смогли завершить свое путешествие. Удивительно, что вы сумели дотащить такую тяжелую картину обратно.

Келли моментально стал казаться выше, когда услышал оценку своего подвига. Он сиял.

– Ерунда. И я бы сделал это еще раз, если бы не кости над моей задницей. Прошу прощения, ваша честь.

Однако его честь уже перевел взгляд серо-голубых глаз на Блинки Уаттса, державшего сразу двух красоток Ренуара и нетерпеливо переминавшегося на месте.

– О господи, у меня не было проблем с болотами или со спиной, – заявил Уаттс, который уверенно зашагал с двумя картинами, чтобы показать, как он легко с ними справляется. – Я добрался до дому за десять минут и принялся вешать картины на стену. И тут, у меня за спиной, появилась жена. Вам когда-нибудь случалась пережить такое: ваша жена стоит сзади и не произносит ни слова?

– Пожалуй, я могу припомнить похожие обстоятельства.

Старик силился вспомнить, бывало ли такое с ним, потом кивнул – действительно, подобные эпизоды хранились в его мерцающем сознании.

– Ну, ваша светлость, только женщина может так молчать, вы согласны со мной? И стоять как средневековый памятник. Температура в комнате стала понижаться так быстро, словно мы оказались за полярным кругом. Я боялся повернуться и оказаться лицом к лицу с Чудовищем, или с дочерью Чудовища, как я ее называю, чтобы отличать от тещи. Наконец я услышал, как она сделала вдох, а потом очень спокойно выдохнула, будто прусский генерал. «Эта женщина голая, как сойка. А другая – как моллюск, выброшенный на берег прибоем». – «Но, – возразил я, – это работа знаменитого французского художника, изучавшего человеческое тело». – «Да придет за мной Христос! Французский! – возопила жена. – Юбки до половины задницы! Платье до пупка! Знаешь, что они делают ртом в грязных французских романах? А теперь ты пришел домой и вешаешь своих «французских» на стену! Почему бы тебе заодно не снять распятие и не повесить на его место толстую голую девку?» Ну, ваша честь, я просто закрыл глаза, и мне ужасно захотелось, чтобы у меня отвалились уши. «Ты хочешь, чтобы на это смотрели наши мальчики перед тем, как лечь спать?!» – продолжала моя жена. Когда я немного пришел в себя, оказалось, что я иду по дороге с двумя голыми, как моллюски, красотками, ваша честь, прошу прощения.

– Они и в самом деле кажутся раздетыми, – заметил старик, взглянув на обе картины так, словно пытался найти в них то, о чем говорила жена этого человека. – Я всегда думал о лете, когда смотрел на них.

– С того момента, как вам исполнилось семнадцать, ваша светлость, может быть. Но до того?..

– Гмм, да, да, – пробормотал старик, и в одном из его глаз промелькнула тень былого распуствства.

Потом этот глаз остановился, уперевшись в Бэннока и Тулери; те стояли у самого края смущенной толпы, каждый при огромной картине.

Бэннок принес свою домой и обнаружил, что проклятая штука не проходит ни в дверь, ни в окно.

Тулери как раз сумел затащить картину в дом, когда его жена справедливо подметила, что они окажутся единственной семьей во всей деревне, у которой есть Рубенс стоимостью в полмиллиона фунтов, но нет коровы!

Таким в целом был результат этой долгой ночи. У каждого имелась своя мрачная и жуткая история, и когда все они были рассказаны, холодные снежинки закружились среди храбрых членов местного отделения ИРА.

Старик ничего не сказал, потому что ему нечего было добавить, и они стояли молча, а бледные облачка дыхания уносил ветер. Потом, очень спокойно, лорд Килготтен широко открыл парадную дверь; у него хватило порядочности не кивать и не показывать.

Медленно, не говоря ни единого слова, мужчины проходили мимо старика, как будто он был учителем в их старой школе, но потом зашагали побыстрее. Так, словно река повернула вспять, вскоре пустой коридор был снова полон животными и ангелами, обнаженными девушками, чьи тела пламенели, и благородными богами, выделяющими курбеты на копытах и крыльях. Глаза его светлости скользили по картинам, а рот беззвучно называл каждую: Ренуар, Ван Дейк, Лотрек... и так до тех пор, пока Келли не коснулся его плеча.

– Мой портрет, кисти моей жены?

– И ничто другое, – отозвался Келли.

Старик посмотрел на Келли и картину у него в руках, а потом в сторону снежной ночи. Келли мягко улыбнулся.

Двигаясь бесшумно, точно грабитель, он исчез вместе с картиной в темноте. Мгновение спустя раздался его смех, и он вернулся обратно с пустыми руками.

Старик сжал ладонь Келли своей слегка трясущейся рукой, а потом закрыл дверь.

Он повернулся, словно память о прошедшей ночи уже выветрилась из его сознания, и заковылял по коридору; шарф утомленно покрывал худые плечи. Толпа проследовала за ним в библиотеку. Там мужчины нашли выпивку и, зажав стаканчики в своих огромных ладонях, увидели, как лорд Килготтен смотрит на картину над камином, словно пытаясь вспомнить, висело ли там многие годы назад «Разграбление Рима». Или «Падение Трои». Затем старик почувствовал на себе взгляды и посмотрел на окружающую его армию.

– И за что мы теперь выпьем?

Люди начали шаркать ногами.

Потом Флэннери воскликнул:

– Ну, за его светлость, конечно!

– Его светлость! – довольно закричали все, выпили, закашлялись, а старик вдруг почувствовал странную влагу на своих глазах, но так и не выпил, пока не улегся шум, и только после этого произнес:

– За нашу Ирландию!

И выпил, и все сказали:

– О господи!

И все сказали:

– Аминь.

А старик посмотрел на картину над камином и проговорил извиняющимся тоном:

– По-моему, она висит немного криво. Не могли бы...

– Не могли бы мы, ребята! – воскликнул Кейси.

И четырнадцать мужчин бросились поправлять картину.

И все-таки наш...

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

– Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, – сказал он. – Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку: «Нет, уж этого вам у меня не отнять», – и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную – здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен, как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

– Она умерла?

– Нет, – негромко сказал Уолкот. – Нет-нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

– Значит, ребенок мертвый.

– И ребенок жив, но... допивайте коктейль и пойдемте. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

– Нет, вы видели? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

– Зачем вы привели меня сюда? – спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

– Неужели... это и есть?..

Доктор Уилкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

– Оно весит семь фунтов и восемь унций, – сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, – подумал Хорн. – Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: “С первым апреля!” – и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

– Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали. Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

– Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

– Нет-нет, невозможно. – Такое не умещалось у него в голове. – Это какое-то чудовище. Его надо уничтожить.

– Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

– Человека? – Хорн смигнул слезы. – Это не человек! Это святотатство!

– Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, – быстро заговорил доктор. – Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

– На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах – родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, – неловко закончил доктор, – ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

– Ваш ребенок жив-здоров и отлично себя чувствует, – со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. – Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

– Можно мне чего-нибудь выпить?

– Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

– Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

– А что мы скажем Полли? – спросил он еле слышно.

– Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

– А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

– Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

– С ним? – Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. – А откуда вы знаете, что это «он»?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

– Видите ли... то есть... ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

– А если вам не удастся вернуть его обратно?

– Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

– Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш – мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

– Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть – ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы

же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто не должен его видеть. Это вы понимаете?

– Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

– Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

– Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно – Полли.

Доктор нахмурился:

– Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отстранил стакан.

– Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

– Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считаю я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

– Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

– Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку – и голубая пирамидка приподнялась.

– Привет, малыш, – сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

– Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку – соску:

– Вот и молоко. А ну-ка, попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смысленный, на диво смысленный. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба – Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался, Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах – как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один – о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

– К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему все вы так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

– Конечно, через недельку вы сможете его увидеть, – прибавил он. – Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

– Мне надо знать только одно, – сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

– Это я виновата, что он такой?

– Никакой вашей вины тут нет.

– Он не выродок, не чудовище? – допытывалась Полли.

– Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

– Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

– Ты просто чудо, – сказал Питер.

– Вот как? – отозвалась она, закуривая сигарету.

– Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

– Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, – сказала Полли. – Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные. – Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. – Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

– Да-да. Ты права. – Питер взял ее за руку. – Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

– Я смогу держаться, – сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. – Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

– Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

– Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести, рассудка только и хватит – приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

– Все уладится, – сказал Питер, сжимая руками штурвал. – Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

– Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично. У вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились – там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. – Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. – Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

– Да, я готова.

– Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую в руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

– Хотела бы я знать... – начала Полли.

– Что?

– Какими он видит нас?

– Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы – в другом.

– Ты думаешь, он не видит нас людьми?

– Если глядеть на это нашими глазами – нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

– Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидками, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

– Он уснул, – сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

– Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? – спросил рабочий, который ему помогал.

– Да, чтоб она не слыхала, – ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали. Боялись – вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

– Что это? – спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. – Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

– Да-да, – ответил Питер, закрывая дверь в детскую. – Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки – и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

– Он умеет говорить «папа». Да-да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: папа.

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

– Фьюи-и! – просвистела теплая голубая пирамидка.

– Еще разок! – сказала Полли.

– Фьюи-и! – просвистела пирамидка.

– Ради бога, перестань! – сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяя по-своему: папа, папа, папа. Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

– Правда, потрясающе? – сказала она. – Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

– Ты уже пила, хватит.

– Ну спасибо, я себе и сама налью, – ответила Полли.

Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

– Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, – сказал он однажды. – Если же голубизна тускнеет, выпцвевает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

– Да-да, я запомню, – сказала Полли. – Яркий, как яйцо дрозда, – здоров, тусклый, как кобальт, – болен.

– Знаете что, моя милая, – сказал Уолкот, – примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

– Вы не очень-то мне помогаете, – возразила Полли. – Прошел уже почти целый год.

– Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. – Доктор потрепал Пая по «подбородку». – Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб – Серый, тот появляется не каждый день. Но главное в его жизни – два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и помягче, – и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова стал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет – и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая назад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся:

– Какая славная у вас зверушка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

– Видно, вы порядком постраниковали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

– Скажи «папа»! – закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

– Фьюи! – засвистела пирамидка.

– Полли! – позвал Питер.

– Он ласковый, как щенок или котенок, – говорила Полли, ведя пирамидку по двору. – Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Афганистана.

Соседи начали расходиться.

– Куда же вы? – Полли замахала им рукой. – Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

– Мой малютка... – повторила Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

– Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

– Ладно. Привозите жену и ребенка. Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

– Все соседи от него в восторге, – сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагнул по коридору, за ним – Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гудение. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

– Выпейте, – сказал он.

Полли повиновалась.

– Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

– Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, – сказал он. – Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, – четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора – что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним:

– Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу:

– То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

– Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

– Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение – это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили его, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда – таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

– Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? – просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

– Тогда я хочу туда, – сказала Полли.

– Подожди, – вмешался Питер. – Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечкиваешь всю свою жизнь.

– Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

– Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

– Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, – тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

– А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

– Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

– Нет.

– Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете, – и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправскими философами. Но тут есть еще одно...

– Что же?

– Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш – треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы – массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

– Мы окажемся вырожденками?

– Да. Но не почувствуете себя вырожденками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

– До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

– Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, оно разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

– Мы идем, – сказал Питер.

– В измерение Пая? – переспросил Уолкот.

– В измерение Пая.

Они поднялись.

– Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

– Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

– А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

– Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежними, хорошо знакомыми, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

– Да, не самый простой и короткий путь к цели... – Он вздохнул. – Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

– Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш, и никакой другой, правда, Полли?

– Этот, только этот, – сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок – не то Полли потеряна. Этот ребенок – не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

– Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, – сказал Хорн и взял жену за руку. – Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

– По совести, я вам завидую, – сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. – И еще вам скажу, вот поживете там – и, пожалуй, напишете такой фило-

софский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

– Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

– Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гудением. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов – далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем...» – и постепенно замер.

Низкое гудение звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно-сжатой нарастающей мощью.

– Это опасно? – крикнул Питер Хорн.

– Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются – чья возьмет. Хорн раскрыл рот – закричать бы... Всего его сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал – тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу – нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск.

Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать – поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться, и шутить, и угощать всех крохотными сэндвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот так это будет.

Щелк!

Гудение прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но силясь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним – обнять наконец и Полли, и малыша разом и заплакать вместе с ними.

– Ну вот, – стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

– Шш-ш! – Уолкот приложил палец к губам. – Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

Женщины

Море напоминало огромную изумрудную залу, вдруг озарившуюся светом.

Показалась вспышка. Белое, фосфоресцирующее пламя, как облако пара, вздымалось из глубин осеннего моря. Пузырилась бездонная глотка расщелины на дне. Что-то вострежено мелькнуло молнией в зеленом небесном зеркале. Древнее, прекрасное создание, в своей праздности покинувшее бездну. Виднелись раковины, пучки морских трав и блеск чешуек, был слышен шепот пузырьков. В теле ее томились причудливые пальцы кораллов и гемисферы диплорий, зрачки желтых ламинарий и локоны водорослей. Она росла с приливами, с течением веков, вбирая души и прах поглощенных водами, тенями ей служили чернила каракатиц, а забавой – любая морская безделица.

Она ждала так долго.

Нечто в зеленом сиянии, дышавшее в осеннем море. Оно не имело ни глаз, ни ушей, ни тела, но видело, слышало и чувствовало. Бесплотная плоть стихии. И была она – женщиной.

Нет, совсем не привычной людскому глазу. Но самая суть ее была женской, мягкой, коварной и скрытной. Она скользила так грациозно. В ней было и женское тщеславие, и все женские уловки.

Темные воды струились вокруг, пронизывали ее плоть, полную чужих воспоминаний, влекомые течением. Воды, несшие праздничные шляпки, дудочки, серпантин и конфетти. Воды играли с пышными лентами ее волос, как ветер с кронами могучих деревьев. Апельсиновые корки, салфетки, газеты, яичные скорлупки, угли костров, отгоревших на пляжах ночами, весь хлам людей на земле, чьи длинные ноги топтали пески островов у берега и мостовые каменных городов, тех, что правили воющими металлическими демонами на бетонных автострадах.

Она, мерцая, поднялась из пенной пучины навстречу холодному утру.

Среди пены в холодном утреннем свете мерцали ее зеленые волосы.

Она чувствовала что-то на берегу.

Там был мужчина.

Мужчина, бронзовокожий, с сильными ногами и крепким телом.

Каждый день он входил в воду, купался и плавал. Но не сегодня. Потому что рядом на песке лежала женщина в черном купальнике и тихо говорила что-то, смеясь. Иногда они держались за руки, иногда касались маленькой коробочки, и слушали, как оттуда лились звуки и музыка.

Свечение качалось на волнах, безмолвное. Купальный сезон кончался, пришел сентябрь. Пляж закрывался.

Вот-вот придет день, когда он исчезнет и вряд ли вернется сюда.

Сегодня он должен войти в воду.

Они нежились на песке, негромко пело радио, и им было тепло. Внезапно женщина задрожала всем телом, не открывая глаз.

Мужчина даже не поднял головы, покоившейся на увитой мускулами руке. Он упивался солнцем, дышал им, приоткрыв рот.

– Что такое? – спросил он.

– Кошмар приснился, – ответила женщина в черном купальнике.

– Сны среди бела дня?

– Разве тебе ничего не снится?

– Ничего. Никогда.

– Какой ужасный сон, господи! – теперь дрожали лишь ее пальцы.

– Что же в нем ужасного?

– Не знаю, – отвечала она, словно и вправду не знала. Ей приснилось что-то страшное, но она забыла, что именно. Теперь, не открывая глаз, она пыталась вспомнить.

– Я тебе снился, – сказал он, лениво потягиваясь.

– Нет, не ты, – возразила она.

– Точно я, – улыбнулся он себе самому. – Изменял тебе с другой, ну конечно.

– Нет.

– Мне лучше знать, – настаивал он. – Я развлекался с другой, а ты нас застукала и случайно меня пристрелила, или что-то в этом роде.

Она непроизвольно вздрогнула:

– Прекрати.

– Дай-ка угадаю, – продолжал он, – какой она была? Джентльмены предпочитают блондинок, не так ли?

– Перестань, не шути так, – попросила она, – мне действительно нехорошо.

Он открыл глаза:

– Что, в самом деле так страшно?

Она кивнула:

– Иногда днем я вижу кошмары, а потом весь день чувствую себя так плохо.

– Прости, – он взял ее за руку. – Может, хочешь чего-нибудь?

– Не хочу.

– Ванильный рожок, эскимо? Может, колы?

– Спасибо, дорогой, правда не хочу. Со мной все в порядке. Просто в последние четыре дня что-то не так. Совсем не так, как в начале лета. Что-то случилось.

– Не с нами же случилось, – ответил он.

– Нет-нет, конечно, не с нами, – поспешно согласилась она. – Ты не чувствуешь, что что-то изменилось вокруг? Даже пирс не такой, как раньше, и парк развлечений, и все остальное. Даже у хот-догов вкус другой.

– То есть как это?

– Они на вкус какие-то старые. Трудно объяснить. У меня аппетит пропал. Скорей бы уже кончился отпуск. Правда, больше всего на свете мне сейчас хочется домой.

– Завтра и так последний день. Ты же знаешь, чего мне стоила эта лишняя неделя отпуска.

– Знаю, – ответила она. – Все вокруг мне теперь кажется странным, переменившимся. Я не понимаю. Почему-то вдруг мне захотелось убежать отсюда.

– Может, сон виноват? Я с блондинкой, и внезапная смерть?

– Да прекрати же, – взмолилась она. – Нельзя так говорить о смерти!

Она прижалась к нему:

– Если бы я только знала, в чем дело.

– Не бойся, – он погладил ее. – Я не дам тебя в обиду.

– Все дело в тебе, а не во мне, – прошептала она. – Мне показалось, ты устал от меня и бросил меня.

– Зачем же? Я люблю тебя.

– Я такая глупая, – она натянуто рассмеялась. – Боже, какая же я глупая.

Они тихо лежали под солнечным небом.

– Знаешь, – проговорил он задумчиво, – я что-то тоже почувствовал. Здесь что-то изменилось. Что-то не так.

– Хорошо, что ты тоже это понял.

Он сонно покачал головой, чуть улыбнулся, зажмурился, поглощая солнце.

– Мы сходим с ума, – бормотал он, – мы сумасшедшие. Оба.

Морские волны мягко касались берега, трижды.

Настал полдень. Солнце нещадно палило в небе. Горячие, блестящие белые яхты качались в водах гавани. Ветер принес запах жареного мяса с луком. Песок шелестел, причудливо растекался узорами, как огромное плавящееся зеркало.

Слышно было, как тихо звучит радио. Они лежали на песке, как две темных стрелы, неподвижно, настороженно прислушиваясь. Чуть трепетали их ресницы, и языки касались пересохших губ. Соленый пот выступал на бровях, но его тотчас иссушало солнце.

Не открывая глаз, мужчина поднял голову, словно услышал что-то.

Радио вздохнуло.

Он опустил голову, но ненадолго.

Она почувствовала, что он снова приподнялся. Приоткрыв один глаз, увидела, что он осматривается, облокотясь на песок, глядит на пирс, на небо, волны и пляж.

– Что-то не так? – спросила она.

– Да вроде ничего, – ответил он, вновь распростершись на песке.

– Ничего? – переспросила она.

– Кажется, я что-то слышал.

– Наверное, радио.

– Нет, не радио. Что-то еще.

– Значит, не наше радио, а чье-то еще.

Он не отвечал, и она чувствовала, что он сжимает и разжимает кулак.

– Да что за черт, – напрягся он, – опять.

Теперь прислушались оба.

– Ничего там нет...

– Тише! – крикнул он. – Господи, да что же это...

Волны бросались на берег, безмолвные зеркала с шуршанием разлетались тысячей осколков.

– Кто-то поет, слышишь?

– Что?

– Клянусь, там кто-то поет.

– Чушь какая.

– А ты послушай!

Снова прислушались.

– Вообще ничего не слышу, – холодно ответила она.

Мужчина встал. В небе не было ничего, как и на пирсе, на песке, и в палатке с хот-догами. Под солнцем царил тишина, только ветер шумел в его ушах, шевелил волоски на руках и ногах.

Он направился к воде.

– Стой! – крикнула она.

Он обернулся, смотря сквозь нее, все еще вслушиваясь.

Она сделала радио погромче. Оттуда раздавалось:

– Я нашел себе малышку на миллион...

Он поморщился, недовольно вскинул руку:

– Выключи.

– А мне нравится! – Она включила музыку на всю катушку, прищелкивая пальцами, качалась в такт, пытаясь улыбаться.

Было уже два часа.

Вода была как парное молоко. Старый пирс утомленно раскинулся посреди марева.

Птицы застывали в небе. Солнце кипятило зеленые воды, омывавшие пирс, пронзали лучами колышающуюся рябь.

Белая пена, кораллы, прах и ламинарии затаились среди волн.

Загорелый мужчина все еще лежал на песке, и рядом с ним женщина в черном купальнике.

Над водой, как облако тумана, плыла музыка. В ней угадывались шепот глубин и минувших лет, морская соль и странствия, нечто чужое, но вместе с тем столь знакомое. Звук ее был подобен волнам на берегу, каплям дождя, подземной реке. Так пел голос безвременья в морской раковине. Так, вздыхая, шептали воды в опустевших трюмах затонувших галеонов. Так свистел ветер в белом черепе на горячем песке.

Но радио заглушало все.

Свечение, легкое, словно женщина, устало скрылось в глубине. Так мало времени осталось. Они вот-вот могут уйти. Пусть он войдет в воду, хотя бы на миг... Создание колебалось в толще вод, чувствуя его лицо, его тело. Жаждало затянуть его вниз, кружиться и играть с ним здесь, на глубине в десять фатомов, увлекая подводным течением.

Ощутить, как вода заберет тепло его тела, как он напитает ее своим горячим дыханием.

Теперь волны качали ее, мягкую, изменчивую, в теплых водах мелководья под палящим солнцем.

Он не должен уйти. Если он уйдет, никогда не вернется.

Сейчас. Пульсировали полушария диплорий. Сюда. Она звала его сквозь безветрие жаркого дня. Иди к воде. Сюда, звала его музыка. Иди же.

Женщина в черном купальнике крутила ручку приемника.

– Внимание! – заорало радио. – Только сегодня, только сейчас, приобретайте новое авто
В...

– Господи! – мужчина убавил громкость. – Оглохнуть можно!

– А я люблю, когда громко, – парировала женщина, оглядываясь на море.

Было три часа. Солнце и не думало скрываться.

Он поднялся, вспотевший.

– Хватит, пойду-ка окунусь, – бросил он.

– Ой, а принесешь мне хот-дог?

– Давай потом.

– Ну пожалуйста, – она надула губки. – Я хочу сейчас.

– Какие соусы?

– Все. Знаешь, а возьми-ка три.

– Три? Аппетита, говоришь, нет? – Он потрусил к палатке.

Она подождала, пока он уйдет. Выключила радио. Долго лежала и слушала. Ничего не было слышно. Она смотрела на воду, пока от солнца не стали слезиться глаза.

Море затихло. Куда ни глянь, лишь солнечные блики блестели на морской зыби. Но она продолжала всматриваться в воду, и лицо ее было мрачным.

Он вернулся.

– Черт, песок раскалился так, что чуть ноги не сжег! – Он устроился на одеяле. – Вот, это все тебе!

Она взяла три хот-дога, задумчиво пожевала один. Затем отдала ему два оставшихся:

– Кажется, я переоценила себя. Съешь лучше ты.

Он молча поглощал хот-доги. Когда закончил, проворчал:

– В следующий раз не жадничай так, ладно? Не пропадать же добру.

– Пить хочешь? – она передала ему термос. – Допьешь лимонад?

– Не откажусь, – он опустошил термос. Затем хлопнул в ладоши: – Ну, а теперь купаться. –

Он взволнованно смотрел на море.

– Совсем забыла, – спохватилась она, – купишь мне масло для загара? Мое кончилось.

– В сумочке посмотри, там же что-то было.

– Уже ничего не осталось.

– Сказала бы, когда я шел за хот-догами, – хмыкнул он, – ну да ладно. – Он вприпрыжку помчался обратно.

Когда он скрылся, женщина достала из сумочки флакон с маслом, наполовину полный, вылила остатки в песок, присыпав их хорошенько, и улыбнулась, взглянув на море. Затем встала у кромки воды, всматриваясь в бесконечно набегавшие волны.

«Тебе его не достать, – подумала она. – Кто ты или что ты такое, я не знаю, но он мой, и ты его не получишь. Я не знаю, что здесь такое творится, правда, не знаю. Зато я знаю, что вечером мы уедем отсюда семичасовым поездом. Завтра нас здесь не будет. Можешь ждать сколько влезет, море, океан, не знаю, как тебя там. Делай что хочешь, со мной тебе не тягаться».

Она подняла камень и швырнула в море.

– На, подавись!

Он уже стоял рядом.

– Ой! – она отскочила.

– Что стряслось? С кем это ты тут болтаешь?

– Что, правда? – удивилась она. – Принес масло? Намажь мне спинку, пожалуйста.

Он вылил немного масла на ладонь и принялся втирать его в золотистую кожу женщины. Она хитро посматривала на воду, кивая, будто говоря: «Что, съела, ты? Ха-ха!», и довольно мурлыкала, как кошка.

– Вот, все, – он протянул ей флакон.

Он уже был по пояс в воде, когда она закричала:

– Куда же ты? Давай-ка назад!

Он посмотрел на нее, как на чужую.

– Господи, что опять не так?

– Ты же только что наелся и напился, в воду нельзя, а вдруг судорога?

– Бабкины сказки, – насмешливо бросил он.

– Сказки или нет, подожди еще часик, слышишь? Я же волнуюсь, боюсь, что ты можешь утонуть.

– Ох, – мрачно вздохнул он.

– Идем, – женщина развернулась, и он поплелся за ней, оглядываясь на море.

Три часа. Четыре.

В четыре десять погода стала меняться. Женщина на песке, видя это, успокоилась. С трех часов набегали облака, а теперь с бухты внезапно принесло туман. Жару сменил холод. Поднялся ветер. Показались черные тучи.

– Будет дождь, – сказала она.

– А ты и рада, – подметил он, – что все тучами заволокло, а ведь это, может, наш последний день.

– Я слушала прогноз погоды, – поделилась она, – вечером будет ливень, и завтра весь день. Может, уедем сегодня?

– Останемся, вдруг будет ясно? Хочу еще денек поплавать. Между прочим, сегодня я так и не купался.

– И так неплохо было: поболтали, наелись, просто время пролетело.

– Да уж, – он разглядывал свои руки.

Белые полосы тумана стелились над песком.

– Смотри, – обрадовалась она, – мне дождик на нос капнул! – Она странно засмеялась. Ее глаза светились, она помолодела. Она почти что ликовала. – Старый добрый дождь!

– И что здесь смешного? Глупенькая.

– Собирайся, а то нас накроет! – скомандовала она. – Давай, поможешь с одеялами. Бежим скорей!

Он медленно, задумчиво свернул одеяла.

– Черт, хоть последний раз бы поплавать. Разок окунись, и все. – Он улыбнулся. – Всего на минуту!

– Нет, – побледнела она. – Простудишься, а мне с тобой нянчиться!

– Ладно, ладно. – Он отвернулся от моря. Накрапывал дождь.

Шагая впереди, она направлялась к отелю, тихо напевая что-то себе под нос.

– Постой! – окликнул он.

Она застыла. Не обернулась. Лишь слышала, как удалялся его голос.

– Кто-то в воде, – кричал он, – кто-то тонет!

Ноги не слушались ее. Она слышала, как он побежал прочь.

– Жди здесь! – кричал он. – Сейчас вернусь! Там кто-то в воде! Кажется, женщина!

– Позовем спасателей!

– Никого нет! Поздно! – он со всех ног неся к воде.

– Вернись! – кричала она. – Там никого нет! Вернись, не надо!

– Не переживай, я сейчас! – отозвался он. – Вон там женщина тонет, видишь?

Сгущался туман, на песке чертил узоры дождь, из глубины вод поднималось сияние. Он бежал к воде, и женщина в черном купальнике бежала за ним, бросив все вещи, умоляя и захлебываясь слезами.

– Не надо! – кричала она, простирая к нему руки.

Он скрылся среди черных волн.

Женщина в черном купальнике ждала на берегу, под дождем.

В шесть часов среди туч промелькнуло солнце. Слышалась барабанная дробь дождя, стучавшего по воде.

В глубине моря шевельнулось белое свечение.

Нечто из пены, водорослей, с длинными прядями зеленых волос, качалось на мелководье. В колеблющемся мерцании, на дне, покоился мужчина.

Такой хрупкий. Пузырилась пена. Мелькала галька, билась о гемисферы кораллов, словно ускользящая мысль, и исчезала. Мужчины. Хрупкие. Ломаются, как куклы. Ничего особенного в них нет. Всего минута под водой, и им становится плохо, они уже не замечают ничего вокруг, только брыкаются и раскрывают рот, а затем перестают двигаться. Совсем. Как странно. Столько дней ждать, и ради чего?

Что с ним теперь делать? Голова болтается, рот распахнут, глаза тоже, взгляд застыл, а кожа бледнеет. Глупый мужчина, просыпайся! Очнись!

Вода закружила его.

Мужчина безвольно обмяк, и рот его был широко раскрыт.

Зеленоволосое, фосфоресцирующее создание отступило от него.

Освободило его. Волна принесла тело назад, на берег. К жене, что ждала его под холодным дождем.

Дождь барабанил по черной воде.

Было слышно, как под свинцовым небом, в сумерках, на берегу кричит женщина.

«Ах, – древний прах колыхнулся в волнах, – как же это по-женски! Ей он тоже больше не нужен!»

В семь часов хлынул ливень. Стало темно, совсем холодно, и в отелях на всем побережье включили отопление.

Мотель куриных откровений

Это случилось в 1932 году, во время Великой депрессии, в самую тяжкую ее пору. Мы сели в свой «Бьюик» 1928 года выпуска и двинулись на запад – мать, отец, мой брат Скип и я. И однажды остановились в мотеле, который потом всегда называли «Мотелем куриных откровений».

Этот мотель, по словам отца, и сам был точно апокалиптическое видение, однако самое главное – у его хозяев была курица, умевшая «писать» совершенно библейские пророчества на снесенных ею яйцах, и это получалось у нее столь же непроизвольно, как непроизвольно исторгают пророчества по поводу Всевышнего, Времени и Вечности трясуны-пятидесятники, корчась и вопя в безумном экстазе во время своих молитвенных радений, словно пророчества эти с болью рвутся у них изнутри наружу, ищут выхода через рот, проступают сквозь кожу.

У всех от рождения свой дар, но с тех пор мне кажется, что куры – самые таинственные из бессловесных тварей. Особенно несушки. Ведь они умудряются – то ли намеренно, то ли чисто интуитивно – передавать людям послания свыше и как бы «пишут» их аккуратным почерком на яичной скорлупе, под которой, чуть вздрагивая во сне, ждут своего часа зародыши цыплят.

В ту долгую осень 1932 года, когда, подкачав колеса и подтянув ремень вентилятора, мы полетели по шоссе номер 66, то понятия не имели, что где-то впереди нас ждет этот мотель и там – самая потрясающая курица в мире.

В пути мы являли собой отличный пример взаимно презрительных, хотя и дружелюбных, семейных отношений. Раскрыв на коленях автомобильный атлас, мы с братом считали себя по меньшей мере в тысячу раз умнее отца; отец, разумеется, был уверен, что маме до него далеко, а она не сомневалась в том, что никто из родных по сообразительности ей и в подметки не годится.

Подобная расстановка сил была близка к идеалу.

По-моему, в любой семье, которая хочет сохранить себя, должно присутствовать определенное количество взаимного неуважения. Пока людям есть о чем спорить, они будут собираться вместе за обеденным столом. Иначе семья распадется сама собой.

Так что, вскакивая по утрам с постели, мы уже ждали той минуты, когда кто-нибудь сморозит очередную глупость по поводу пережаренного бекона и недожаренной яичницы. Или, скажем, пересушенных (а также недосушенных) тостов. Или если подали только одну порцию джема. Или если на столе стоит соус, который двое из нас четверых терпеть не могут.

Если бы нам с утра пораньше вручали набор колоколов, мы бы могли прозвонить отличную заутреню по поводу собственных неудовольствий! Когда отец говорил вдруг, что, как ему кажется, он все еще растет, мы со Скипом тут же хватались за сантиметр и обмеряли его, стараясь доказать, что за ночь он, наоборот, как бы сохся, уменьшился. Таковы уж люди. Такова их природа. Такова человеческая семья.

Итак, мы, постоянно ворча друг на друга, тащились по Иллинойсу, ссорились, проезжая по Озарку, а в горах расцвели уже краски осени – мы простояли целых десять минут, любуясь их ярким бушующим половодьем. Потом мы «на авось» попытали счастья в Канзасе и Оклахоме и поехали дальше, прикрывая неудачу притворными вздохами раскаяния и лицемерно веселой болтовней, пока не утонули в прямо-таки роскошной темно-красной грязище, неудачно съехав с магистрали на проселок.

Теперь каждый из нас мог вволю прославлять собственную дальновидность и проклинать других за неосмотрительность, подсакивая на бесконечных колдобинах и недобрым словом поминая облезлые дорожные знаки и отвратительные тормоза старого «Бьюика». С трудом миновав очередную лужу, мы въехали во двор какого-то совершенно занюханного мотеля, где плата была стандартной – доллар за ночь, – зато окрестности очень подошли бы банде

головорезов: неподалеку виднелся лесок, а сам мотель стоял на самом краю глубокого горного карьера, так что наши тела вполне могли бы пролежать несколько лет на дне одного из озер, образовавшихся на месте многочисленных котлованов, прежде чем их обнаружили бы.

Однако мы все же остались там ночевать. Слип и я, лежа в одной постели, долго развлекались тем, что считали струйки дождя, без конца просачивавшиеся сквозь крышу из дранки и каждый раз в новом месте, и пинали друг друга, когда кто-то один чересчур нахально перетягивал теплое одеяло на себя.

Следующий денек был еще лучше. Промокнув насквозь и исходя паром, мы из полосы дождя вылетели прямо на сорокаградусную жару, которая тут же высосала из нас все жизненные соки и последнее мужество. Отец, правда, пару разков шлепнул Слива, однако попало при этом почему-то мне.

К полудню от нашего взаимного презрения не осталось и следа – видно, вышло через поры вместе с потом, – и уже явно начинался хорошо знакомый период изнурительной вежливости, перемежающейся грубостями, но тут в пригородах Амарильо навстречу нам попалась обыкновенная техасская ферма, где разводили кур.

Решение остановиться именно здесь пришло сразу.

Почему?

Да потому, что мы увидели: с курами люди обращаются так же грубо, как и с членами собственной семьи, особенно когда кто-то вертится под ногами.

Когда старик – видимо, хозяин фермы – сперва с улыбкой пнул ногой петуха, а потом как ни в чем не бывало открыл для нас ворота, мы со Сливом просто расцвели. Старик наклонился к отцу и сказал, что у них есть еще и мотель, где ночевка стоит всего пятьдесят центов – это было действительно очень дешево, однако запах там, надо сказать, дорогого стоил!

Поскольку у отца уже не осталось сил спорить с нами, он добродушно согласился, что это место ничуть не хуже прочих и вполне годится, чтобы смыть с себя дорожную грязь.

Ожидания нас не обманули. Жалкая комнатенка, в которую мы вошли, оказалась прямо-таки находкой: не только все пружины на кровати и на диване одновременно впивались в тело, стоило туда шлепнуться, но и весь домишко тут же вздрагивал и еще долго продолжал трястись, точно страдал пляской святого Витта. Видимо, его фундамент не вынес бесчисленных налетов жестоких постояльцев, которые с криком «Ух, здорово!» кидались на измученные пружинные матрасы.

Судя по запаху, можно было предположить, что кое-кто из этих дикарей прямо здесь и скончался. Вонь стояла ужасная; в ней различались запахи лживых любовных признаний и похоти, выдаваемой за страсть. Ветерок сквозь щели в полу приносил ароматы куриных испражнений – видно, здешние несчастные птицы неизбежно страдали расстройством желудка, клюя землю у стока из туалета, всю пропитанную дезинфицирующей жидкостью, которая просачивалась сквозь сгнивший линолеум.

Зато после того, как мы, спрятавшись от жары в комнатухе, перекусили – ленч состоял из бутербродов с холодной фасолью и свининой, украшенных отвратительными потеками сероватого растительного маргарина, – Слип и я, удрав от родителей, отыскивали поблизости пустынный ручей и долго швырялись друг в друга камешками, чтобы немного остыть.

Вечером мы отправились в город и за обедом в кафе тщетно пытались «прочитать» на найденной грязной ложке, засиженной мухами, некое таинственное послание свыше, «написанное» коричневыми точками мушиных следов, и все время стряхивали с себя тощих кузнечиков, которые, похоже, более всего желали утопиться в наших тарелках с супом. Потом, купив билеты по десять центов, мы посмотрели гангстерский боевик и вернулись к себе, на куриную ферму, повеселев и на время забыв о пережитых страданиях и о Великой депрессии.

До одиннадцати вечера никто здесь, в Техасе, спать не ложился из-за жары. К нам зашла хозяйка, хрупкая изможденная женщина – таких я видел множество, почти на всех газетных

фотографиях, посвященных этой стране песчаных бурь. Она была настолько иссушена ветрами и жарой, что от нее остались буквально кожа да кости, однако в глазах, в самой их глубине, точно горели две свечи. Разговор шел о восемнадцати миллионах безработных и о том, что еще может случиться, и о том, куда мы всей семьей направляемся, и о том, чего ждать в следующем году.

Жара, донимавшая нас весь день, чуточку отступила, словно давая людям передышку. Откуда-то со стороны грядущей утренней зари подул прохладный ветерок. Мы несколько при- тихли. Я посмотрел на брата, он – на маму, а она – на отца: мы снова чувствовали себя единой семьей; что бы там ни случилось, сегодня мы были вместе и вместе держали путь неведомо куда.

– Видите ли... – Отец вытащил автомобильный атлас и раскрыл его, показывая хозяйке наш маршрут, отмеченный красными чернилами, точно круг наших четырех судеб, внутри которого нам еще долго предстояло жить, точнее – стараться выжить: сводить концы с концами, есть что придется и ложиться спать, не надеясь, что приснится какой-нибудь сон. – Завтра... – он коснулся карты дорог желтым от никотина пальцем, – мы будем в Томбстоуне. Послезавтра – в Тусоне. Там мы немного задержимся – поищем работу. Денег хватит недели на две, если экономить, конечно. Если там работы не будет, мы двинемся дальше, в Сан-Диего. Там у нас родственник работает в порту, в таможенной инспекции. В Сан-Диего побудем с недельку, ну и еще три недели в Лос-Анджелесе. А потом денег останется только на то, чтобы вернуться домой, в Иллинойс, и там, может быть, записаться на получение пособия по безработице. Или – кто его знает? – вдруг снова удастся получить работу в электрокомпании? Меня оттуда полгода назад уволили...

– Понятно, – сказала хозяйка.

И ей действительно все было понятно. Потому что все те восемнадцать миллионов без- работных как бы проехали здесь и тоже останавливались в этом мотеле, а потом уезжали – куда-нибудь, все равно куда, в никуда; и снова возвращались – в никуда, все равно куда, куда- нибудь, где они когда-то лишились работы и были совсем не нужны, а потом снова исчезали в поисках неведомо чего.

– А какую работу вы ищете? – спросила хозяйка.

Вот это она сказала! Она и сама сразу поняла, что ляпнула что-то не то. Отец помолчал, задумался и рассмеялся. И мать рассмеялась. И мы с братом тоже рассмеялись. Всем вдруг стало очень смешно.

Еще бы, кто же спрашивает, какая нужна работа! Уже давно существовала просто работа, которую нужно найти, без всяких там названий и определений; работа, чтобы кормить семью, платить за бензин, иногда, может, покупать мороженое в вафельном стаканчике. Кино? Ну и в кино раз в месяц не грех сходить. Все равно мы со Скипом всегда ухитрялись просочиться в зал – через заднюю дверь, через служебный вход, через подвал и оркестровую яму; а еще можно было спуститься по пожарной лестнице прямо на балкон... Ничто на свете не могло удержать нас от походов на утренние субботние сеансы! Интереснее могли быть только фильмы с участием Адольфа Менжу, которые показывали вечером...

И вдруг все разом умолкли, словно чувствуя, что подошло время для чего-то очень важ- ного. Хозяйка извинилась, вышла и через несколько минут вернулась, неся две небольшие коробочки из серого картона. По тому, как она с ними обращалась, можно было предположить, что там фамильные драгоценности или урна с пеплом любимого дядюшки.

Женщина осторожно села, разгладила фартук на коленях и бережно опустила на него коробочки, чуть прикрывая их от нас ладонями, и сидела так довольно долго, с большим мастерством выдерживая паузу, как в настоящем театре. Многие начинают понимать важность паузы для драматического действия, когда становится необходимо подчеркнуть смысл самого

ерундового события, чтобы оно показалось значимым, и для этого как бы замедлить бег времени.

И странно, нас тронуло поведение этой тихой женщины, ее печальное, чуть отчужденное измученное лицо, в чертах которого отразилась вся ее напрасно прожитая жизнь. В глубине глаз плакали дети, так и не рожденные ею на свет. А может, рожденные, да только рано умершие и похороненные не в земле, а словно в ней самой, в душе, в сердце. А может, она родила их и вырастила, но они покинули ее, разъехались по белому свету и никогда ей не пишут? По лицу хозяйки можно было прочесть и ее жизнь, и жизнь ее мужа, и то, как они выжили здесь благодаря своей ферме... Господь не раз грозил дыханием своим погасить разум этой женщины, однако душа ее, себе самой на удивление, все-таки устояла, и огонь в ее глазах продолжал гореть.

Увидишь такое лицо – с написанными на нем бесчисленными утратами, – и невозможно не обратить на него внимания, когда оно вдруг вспыхнет от счастья, если хозяин его вдруг найдет то, к чему может прилепиться душой или хотя бы просто смотреть с наслаждением, не отводя глаз.

Именно так вспыхнуло лицо нашей хозяйки, когда она приподняла крышку одной из коробок.

И внутри оказалось...

– Ну и что? – вырвалось у Скипа. – Это же просто яйцо!..

– Смотри внимательнее, – сказала ему хозяйка.

И мы очень внимательно посмотрели на чистенькое, только что снесенное яйцо на подстилке из ваты.

– Ничего себе, – пробормотал Скип.

– Вот это да! – прошептал я.

На скорлупе, прямо посередине, был странный след – словно яйцо треснуло, стукнувшись обо что-то, а потом трещина затянулась, и на ее месте появилось нечто загадочное: отчетливое выпуклое изображение головы длиннорогого быка!

Это было здорово! Такая тонкая работа, будто над яйцом потрудился какой-то волшебник-ювелир, заставив кальций, содержащийся в скорлупе, лечь послушно его воле и создать нужный рисунок – бычью морду и огромные рога. Да такое яйцо любой мальчишка с гордостью повесил бы себе на шею и показывал бы приятелям в школе – пусть лопнут от зависти!

– Это яйцо, – сказала хозяйка, – вместе с рисунком появилось на свет ровно три дня назад.

Сердца наши екнули; мы открыли было рты:

– Но...

Хозяйка закрыла крышку коробки, и рты наши тоже закрылись сами собой. Женщина глубоко вздохнула, на секунду прикрыла усталые глаза и приподняла крышку на второй коробке.

– Спорим, я знаю, что там! – вскричал Скип.

Что уж тут спорить, все и так было ясно.

Конечно, и во второй коробке на вате лежало такое же кругленькое белоснежное яйцо.

– Ну вот, смотрите, – сказала эта женщина, владевшая жалким мотелем и куриной фермой, затерявшейся среди безлюдных равнин, под бездонными небесами, где ни земля, ни небо не кончаются за горизонтом, а тянутся все дальше и дальше, без конца и без края.

Мы дружно склонились над яйцом, прищурившись, чтобы лучше разглядеть его.

На сей раз на скорлупе виднелись слова. Словно сама душа несущки, направляемая неведомым нам ночным ее собеседником, с трудом и болью вывела, «начертала» эти буквы на скорлупе неровным, но вполне разборчивым почерком.

Вот что там было написано:

«Мир вам. Благоденствие ваше грядет».

И вдруг стало очень тихо.

У нас и без того было полно вопросов еще насчет первого яйца. Они так и рвались с языка. Как, например, могла курица со своим крошечным нутром умудриться завести там еще какой-то орган, способный делать на скорлупе рисунки и надписи? А может, в нее вставлен механизм – вроде как в наручных часах? Или это сам Господь использует столь простенькую живую тварь как медиума? И это Его рука изображает на яичной скорлупе разные фигуры, пишет заповеди и откровения?

Однако, увидев надпись на втором яйце, мы так и не задали ни одного вопроса; мы слова не могли проронить.

«Мир вам. Благоденствие ваше грядет».

Отец глаз не сводил с этой надписи.

И все мы тоже.

Губы дружно шевелились – мы без конца перечитывали написанные на скорлупе слова.

Один раз отец, правда, вскинул глаза на нашу хозяйку. Она ответила ему прямым, спокойным, уверенным и честным взглядом; нет, в чистоте ее помыслов сомнений не было, как не могло быть сомнений и в том, что вокруг нас дрожат в жарком мареве бескрайние, безлюдные, безводные равнины. В ее глазах мерцал, порой расцветая, тот огонь, что вспыхнул не менее полувека назад. Она не жаловалась и ничего не объясняла. Да, она просто нашла это яйцо подле своей несущки. Вот оно. Смотрите сами. Читайте написанные на нем слова. А потом... пожалуйста, прочитайте их еще раз!

Мы тяжело вздохнули и с трудом выдохнули воздух.

Затем отец медленно повернулся и пошел прочь. У самой двери он кинул взгляд через плечо, как-то странно моргая, но слез рукой не смахнул, хотя глаза у него были влажны и сияли ярко и возбужденно. Он молча спустился с крыльца и побрел меж хижин старого мотеля, сунув руки поглубже в карманы.

Мы с братом все еще не могли отвести глаз от надписи на яйце, но хозяйка осторожно закрыла коробку крышкой, поднялась и пошла к дверям. Мы молча двинулись следом.

Отец стоял у загона для кур, освещенный последними закатными лучами, хотя в небе уже показалась луна. Мы тоже подошли к проволочной сетке и стали смотреть, как за ней мечутся по крайней мере тысяч десять кур, до смерти пугаясь то порыва ветра, то тени от облака, то далекого лая собаки, то шума автомобиля, мчащегося по пустынному, раскалившемуся за день шоссе.

– Вон она, – сказала хозяйка. – Вон та.

И показала куда-то в море куриных спин и голов.

Туда, где сустились и кудахтали то громче, то тише тысячи птиц.

– Вот она, моя дорогая, моя милая девочка! Видите?

Рука женщины ничуть не дрожала, когда она неторопливо стала показывать нам свое сокровище, тыкая пальцем куда-то в пространство...

– Ну что, правда, хороша? – спросила хозяйка.

Я смотрел во все глаза, я даже на цыпочки встал и прищурился. Я смотрел так, что у меня чуть глаза не выскочили.

– А я вижу! – крикнул мой брат. – По-моему...

– Ну да, такая беленькая, – поддержала его хозяйка. – С рыжими крапинками.

Я посмотрел на эту женщину. Она была совершенно спокойна: уж она-то свою несущку знала отлично! Это мы не могли разглядеть ее среди множества других кур, однако ее любимица несомненно была там, реальная, как мир вокруг нас, как небо над головой – сама всего лишь маленькая частичка этого огромного мира.

– Вон она, – сказал мой брат и сразу умолк, смутившись. – Нет, постойте... Ну да, вон та!

– Да, – сказал я. – Теперь и я его вижу!

– Ее, балда!

– Ну, ее, – поправился я, и на секунду мне показалось, что я действительно ее вижу – замечательную несущку с куда более белым и пышным, чем у остальных, оперением и куда более резвую и веселую, чем прочие куры, однако ступавшую удивительно гордо...

Волнующееся птичье море расступилось на миг перед нашим взором, чтобы явить ему одну-единственную из множества птиц, похожих на островки лунного света на теплой траве. На секунду куры застыли на месте, но тут снова то ли лай собаки, то ли прозвучавший выстрелом выхлоп проезжающего мимо автомобиля обратил их в паническое бегство. Стоило им сомкнуть свои ряды, и та несущка исчезла.

– Ты видел? – спросила меня хозяйка, крепко вцепившись в проволочную сетку и высматривая свою любимицу в толпе мечущихся кур.

– Да. – Мне не было видно, какое при этом стало лицо у отца – то ли осталось серьезным, то ли он сухо усмехнулся. – Я ее видел.

Отец с матерью повернулись и пошли к нашему домику, но хозяйка и мы со Скипом остались стоять у сетки и молча, даже не показывая пальцами на кур, простояли там еще минут десять.

А потом пришла пора ложиться спать.

Но мне не спалось. Я лежал рядом со Скипом и вспоминал, как раньше по ночам, когда отец с матерью разговаривали о всяких взрослых вещах, мы любили слушать их разговоры – мать озабоченно спрашивала о чем-то, а он отвечал ей спокойно, уверенно и тихо. Горшок с золотыми монетами, счастье на том конце радуги – нет, в такое я больше не верил. Молочные реки с кисельными берегами. Нет, нет. Мы слишком много проехали и слишком много видели, чтобы я мог в это поверить. И все же...

Когда-нибудь в гавань войдет мой корабль...

В это я верил.

Когда я слышал, как отец говорит это, на глаза мне наворачивались слезы. Я видел такие корабли – на озере Мичиган летним утром. Они проплывали мимо после регаты, полные веселых людей, которые горстями бросали в воздух конфетти и трубили в трубы, а мне представлялось... – бесконечное множество раз в бесконечное множество ночей я отчетливо видел на стене перед собой дивную картину: мы тоже стоим на причале – мама, папа, Скип и я! – и корабль, огромный, белоснежный, всплывает в гавань, а на верхней палубе стоят миллионеры и подбрасывают вверх не конфетти, а долларовые банкноты и золотые монеты, и все это шумным дождем падает вниз, и мы пляшем от радости, и стараемся изловчиться и поймать как можно больше, и ойкаем, когда тяжелой монетой попадает по голове, и смеемся, когда нас щекочут похожие на хлопья снега банкноты...

Мать что-то спрашивала – насчет того корабля, – а отец отвечал ей, и в ночной тиши мы со Скипом погружались в одни и те же мечты – как мы стоим на причале, а корабль...

Но сегодня ночью я вдруг спросил в давно уже наступившей тишине:

– Пап, а что оно означает?

– Что именно? – откликнулся отец из темноты, где он лежал рядом с матерью.

– То, что написано на яйце. Неужели тот корабль скоро придет?

Отец долго молчал. Потом твердо ответил:

– Я думаю, да. Надпись означает именно это. А теперь спи, Дуг.

– Хорошо, сэр.

Я вытер слезы и отвернулся к стене.

Из Амарильо мы выехали в шесть утра, чтобы успеть хоть немного проехать по холодку, и в течение первого часа все тупо молчали, еще не проснувшись как следует. И весь следующий

час мы тоже молчали – думали о том, что произошло вчера. Наконец на отца подействовал выпитый кофе, и он обронил вслух:

– Десять тысяч.

Мы ждали, что он скажет еще, но отец молча качал головой.

– Десять тысяч бессловесных тварей! – воскликнул он наконец. – Но лишь одна, невесть откуда взявшаяся, вдруг решает передать нам...

– Ну что ты, отец, в самом деле! – с упреком сказала мама.

Словно хотела спросить: «Ты ведь не веришь этому, правда?»

– Да уж, папа! – Мой брат говорил с той же чуть заметной насмешкой.

– Тут есть над чем подумать. – Отец не обращал на них внимания. Он не сводил глаз с дороги, ведя машину легко и свободно, не стискивая руль, а уверенно направляя наше «утлое суденышко» через пустыню. Стоило миновать один холм, как сразу же за ним возникал следующий, а там и еще один, и дальше... а что дальше?

Мать заглянула отцу в глаза, но у нее не хватило духу окликнуть его тем же насмешливым тоном еще раз. Она отвернулась к окошку, посмотрела на дорогу и промолвила так тихо, что нам почти не было слышно:

– Как там было написано? Повтори-ка!

Отец плавно миновал поворот в сторону Уайт-Сэндз, откашлялся, на ходу протер ладошкой ветровое стекло перед собой, точно расчищая кусочек неба, и сказал, как бы вспоминая:

– Мир вам. Благоденствие ваше грядет.

Мы проехали еще с милю, прежде чем я решился спросить:

– А сколько... ну, сколько может... стоять такое яйцо, пап?

– Людям его оценить невозможно, – ответил он, не оглядываясь и продолжая вести машину к далекому горизонту. – Знаешь, сынок, этого просто нельзя делать! Нельзя вешать ценник на яйцо, посредством которого с нами говорят Небеса! Мотелем куриных откровений – вот как мы теперь всегда будем называть этот мотель.

И мы помчались дальше со скоростью сорок миль в час сквозь жару и пыль послезавтрашнего дня.

Мы со Скипом сидели смирно и даже потихоньку, незаметно не пихали друг друга, пока где-то в полдень не пришлось вылезти, чтобы «полить цветочки» на обочине дороги.

По ветру от Геттисберга

Вечером, в половине девятого, из театра до него донесся резкий звук.

«Мотор стреляет, – подумал он. – Нет. Пистолет».

Мгновением позже он услышал взволнованный хор голосов, и сразу настала тишина, словно обвал преградил путь могучей волне. Хлопнула дверь. Раздался топот.

В кабинет ворвался бледный, как смерть, билетер, дико озираясь, будто не видя ничего вокруг, силился что-то произнести:

– Линкольн... Линкольна...

Бэйес глянул на него поверх бумаг.

– Что там с Линкольном?

– Он... в него стреляли.

– Отличная шутка. А теперь...

– Стреляли. Вы что, не поняли? Застрелили. На самом деле. Убили во второй раз!

Билетер вышел, держась за стену, его шатало.

Бэйес непроизвольно встал.

– О, боже мой...

Он промчался мимо билетера, который бросился за ним по пятам.

– Нет, нет, – повторял Бэйес. – Это же невозможно. Не может быть. Нет. Не может быть...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.